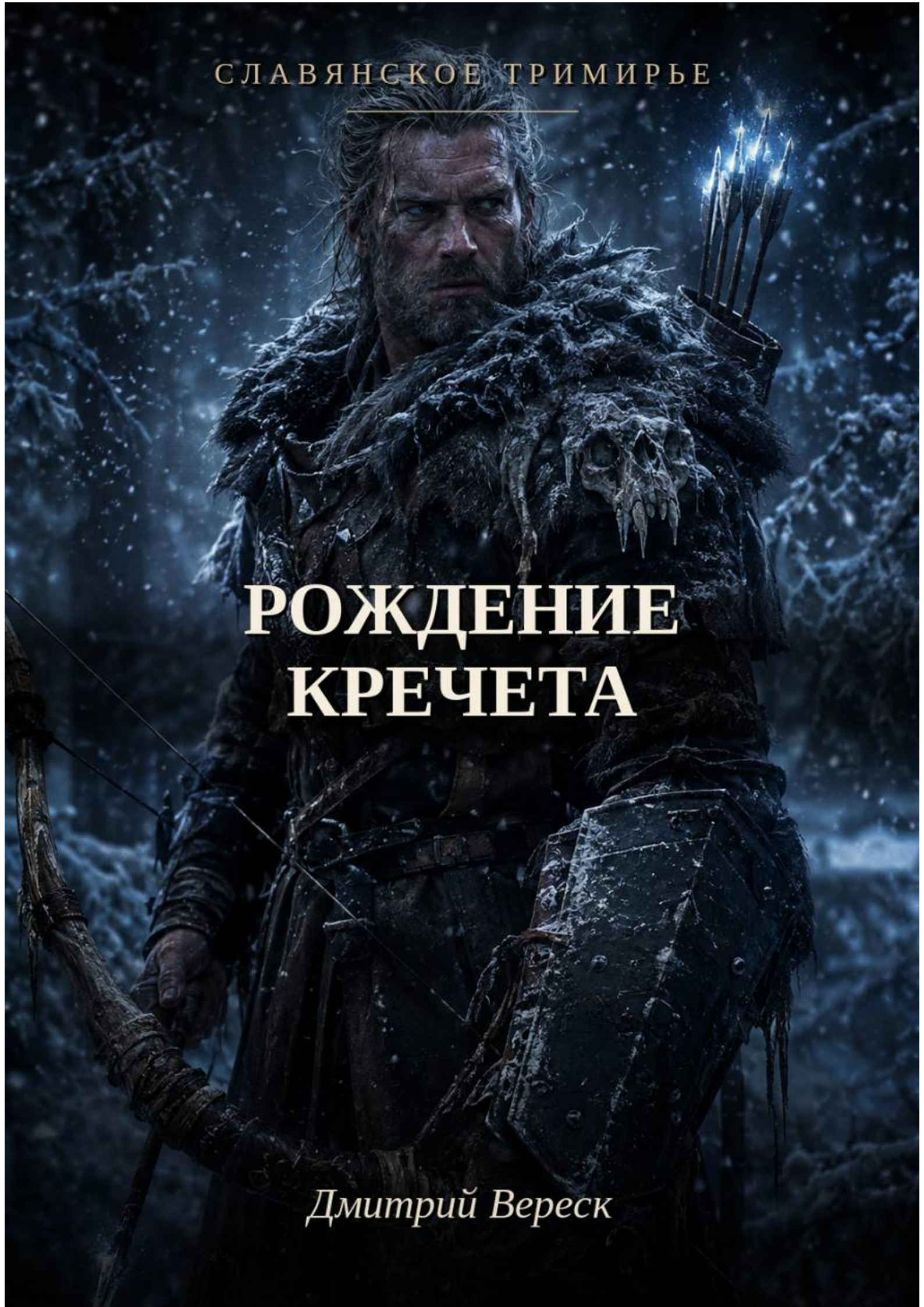




СЛАВЯНСКОЕ ТРИМИРЬЕ

РОЖДЕНИЕ КРЕЧЕТА

Дмитрий Вереск

Дмитрий ВЕРЕСК
Рождение Кречета.

«Автор»

2026

ВЕРЕСК Д.

Рождение Кречета. / Д. ВЕРЕСК — «Автор», 2026

Впереди вас ждёт погружение в мир славян. Серия рассказов о рождение охотника на нечесть. Погружение в мир славянского тримирья серию книг о мире где солнце угасает и мир погружается в хаос

© ВЕРЕСК Д., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Рождение Кречета	6
Полуденный зной	6
Пророчество оратая	8
Обереги Любавы	10
Конец ознакомительного фрагмента.	11

Дмитрий ВЕРЕСК

Рождение Кречета.

Глава

Рождение Кречета

Полуденный зной

Марево стояло такое, что воздух над спелой рожью дрожал, как дрожит поверхность воды, если бросить в неё камень, только этот камень никто не бросал — просто июль в тот год выдался таким, что даже тени под деревьями казались горячими на ощупь. Радим шёл широким, размеренным шагом вдоль межи, сбивая концом лука колючие головки чертополоха, а на плече у него покачивалась туша вепря — жирная, добытая ещё на рассвете в дубраве за тремя ручьями.

Пот катился по загорелой шее, заливал глаза, и он щурился на солнце без особого недовольства: ему было двадцать шесть зим, руки помнили лук лучше, чем иные помнят собственное имя, а левая, натягивавшая тугую тетиву из бычьих жил тысячи раз, давно перестала уставать раньше правой. В его жизни не было ничего тяжелее вот этой туши на плече да редких ссор с женой из-за того, что он задерживался в лесу дольше обещанного.

Но сегодняшняя охота оставила во рту странный, металлический привкус — не от усталости, не от жары. Радим остановился у края поля, перехватил вепря поудобнее и оглянулся на тёмную стену дубравы позади. В лесу было слишком тихо. Не той тишиной, что бывает в полдень, когда птицы прячутся от зноя, а другой — настороженной, будто сам лес затаил дыхание, прислушиваясь к чему-то, чего Радим не мог расслышать.

Зверь, которого он нёс, вышел ему навстречу сам — выскочил из чащи с раскрытой пастью, изрыгая густую пену, будто спасался не от охотничьей стрелы, а от чего-то куда более страшного, притаившегося за его спиной в самой глубине леса. Глаза у кабана были дурные, налитые кровью, с синеватой плёнкой поверх зрачка — Радим видел бешеных зверей и раньше, но не таких, что бегут не в сторону, а напролом, слепо, будто им уже всё равно, куда.

— Тётьенька Медведица на заставах не зря ворчала, что воздух протух Навью, — пробормотал он себе под нос, сдувая со лба мокрую прядь русских волос. — Ладно, мясо чистое, жирное. Хватит Любавушке и ребятам на месяц вперёд, а страхи лесные пускай волхвы в Светлограде разбирают. Им за то серебро платят.

Он двинулся дальше по узкой меже, разделяющей золотое море ржи. Сапоги мягко утопали в прогретой земле, от которой шло густое, ленивое тепло — Радим любил эти места, пограничный Светлоград, прикрывающий Явь от глухих, неизведанных болот и тёмных лесных массивов на самом краю княжеских земель. Здесь жизнь текла медленно и просто, подчиняясь лишь ходу солнца да смене пор года, и верить в дурные приметы в такой знойный, благословенный день казалось откровенной глупостью.

Впереди, на перекрёстке с наезженным трактом, показались двое дозорных из княжеской дружины — сидели на сваленных брёвнах в тени старой ивы, расстегнув кожаные ворота кафтанов, лениво обмахиваясь сорванными ветками. У ног стояла пустая баклага. При виде Радима с его богатой добычей один из дружинников, молодой парень по имени Мирошка, присвистнул и тяжело поднялся.

— Ну и кабанище, Радим! — Мирошка вытер лоб тыльной стороной ладони и покачал головой. — Где ты такого выкопал? Мы с самого утра у тракта сидим, ни единого следа не видели. Настоящий вепрь-воевода!

— В дубраве, за ручьями, — коротко ответил Радим, опуская тушу на землю, чтобы дать плечу отдых. — Только зверь дурной попался. Бежал так, будто за ним сама Навь гналась, а не мой лук.

Второй дружинник, постарше, до этого молча жевавший травинку, поднял взгляд — не насмешливый, а неожиданно серьёзный для такого разморенного дня.

— Из Заречья вестей третий день нет, — сказал он, не глядя на Радима прямо, будто самому было неловко произносить это вслух в такую жару. — Гонца посылали — не вернулся. Воевода велел на всех заставах смотреть в оба, а сам зачем-то к волхвам зачастил, хотя раньше без нужды порога их избы не переступал.

Радим невольно оглянулся на дубраву — тёмную, притихшую, всё ещё дышащую тем странным, не по-летнему тяжёлым молчанием, — и почувствовал, как между лопаток пробежал холодок, совершенно неуместный в такую духоту.

— Заречье недалеко от болот стоит, — заметил он, стараясь, чтобы голос прозвучал легче, чем ему сейчас казалось внутри. — Мало ли что. Может, просто дорогу размыло.

— Может, — согласился старший, но взгляд его снова ушёл куда-то в сторону горизонта, туда, где даже в полуденном мареве можно было различить нечто странное: тонкую, почти невидимую дымку, стелющуюся низко над далёкими верхушками деревьев, слишком серую и слишком плотную для обычного летнего тумана.

Радим забросил тушу на плечо и зашагал прочь по тракту, к дому, к Любаве и детям, стараясь не думать о том, что дымка эта показалась ему знакомой — той же самой, что временами наползала на болота зимними вечерами, задолго до того, как приходили настоящие холода.

Пророчество оратая

Деревенский колодец стоял на самом краю выгона, там, где кончались плетни последних дворов и начиналась дорога на Заречье, и обычно вокруг него в это время дня толпились бабы с вёдрами да ребятня, норовившая искупать друг друга ледяной водой. Сегодня было пусто — только у растрескавшегося деревянного сруба сидел на обрубке старого бревна человек, каких Радим прежде здесь не видел.

Огромный, широкоплечий, словно вытесанный из прибрежной гранитной скалы, он сидел низко опустив голову на натруженные ладони. На нём была простая холщовая рубаха, серая от дорожной пыли, порванная на локте. Рядом на телеге, запряжённой уставшей лошастью, лежал исполинский плуг, окованный тёмным железом. Лемех — широкое режущее крыло, способное выворачивать вековые корни, — был обезображен глубокой рваной трещиной, из которой сочилась странная, маслянистая тёмная жижа, вовсе не похожая на обычную ржавчину.

Радим подошёл ближе, стараясь ступать мягко, но чужак даже не вздрогнул — почувал его приближение задолго до того, как тень охотника упала на его босые, покрытые дорожной грязью ступни.

— Доброго здоровья, честной пахарь, — окликнул его Радим, придерживая руку на поясе, поближе к рукояти охотничьего ножа — привычка, а не недоверие. — Издалека путь держишь? Кони твои притомились, да и сам ты, гляжу, не местный. Может, подсобить чем? Кузня у нас за ручьём, мастер Егор плуг твой мигом поправит.

Великан медленно, будто преодолевая сопротивление невидимой тяжести, поднял голову. Лицо у него было простое, крестьянское, огрубевшее от ветра, с окладистой бородой цвета спелой ржи — но в глазах застыла такая глубокая, застарелая тоска, какую Радим видел только у старых лесных зубров, загнанных стаей волков на край обрыва.

— Большой пахарь, — пронеслось у Радима в голове, пока он разглядывал сломанный плуг. — Уж не Микула ли это? Тот самый, о ком на дальних заставах сказывали, будто из самого Светлограда ушёл, будто вся его дружина полегла на льду в войне против Кощея — в бой их послал князь, которому мир поверил, что во льдах виноват Кощей, а не Ритуал волхвов. Микула единственный вернулся живым и с тех пор не поднимал больше меча.

— Ты Микула, верно? — прямо спросил Радим.

Великан тяжело поднялся на ноги — оказался на целую голову выше Радима, хотя тот и сам не привык смотреть на людей снизу вверх.

— Ты ушами слушаешь, ловчий, а я ногами чую, — сказал Микула и с силой топнул босой пяткой по растрескавшейся земле, отчего где-то в глубине, под коркой сухой пыли, глухо отозвалось эхо, будто под выгоном скрывалась пустота. — Земля болеет. Уже месяц как болеет, и с каждым днём хуже.

— Болеет? — Радим невольно оглянулся на дубраву, вспомнив утреннюю тишину и странного, обезумевшего вепря. — Ты про холод, что в Заречье пришёл?

— Про то, что идёт следом за холодом, — ответил Микула, и голос его стал тише, будто он сам не хотел, чтобы слова разлетелись дальше колодца. — Узы, что держали границу Яви, истончились до предела. Черная Иржа уже подбирается к самому порогу вашего дома, охотник, а вы всё ещё верите, что дурные приметы — не про вас.

— Волхвы в Светлограде говорят, что справятся, — сказал Радим, сам не зная, зачем оправдывается перед чужаком. — Что Ритуал вернёт солнце, если...

— Волхвы, — с горечью повторил Микула, и в этом единственном слове было столько всего, что Радим невольно отступил на полшага. — Волхвы верят в собственную ложь крепче, чем весь остальной мир верит в правду. Я когда-то тоже верил, что знаю, кто враг. Дружину

свою повёл на лёд, уверенный, что бью источник холода. Бил не то. Не туда. И вернулся один, с этим, — он кивнул на треснувший лемех, из которого продолжала сочиться тёмная жижа, — единственным свидетелем того, что моя вера стоила дороже, чем я думал.

Радим молчал, не находя, что ответить. Вдалеке, там, где выгон переходил в поле, зазвенел детский смех — Милка с Аленкой, наверное, уже завидели отца издалика и бежали навстречу, — и этот звук, живой, беспечный, вдруг показался Радиму хрупким, как последний лёд по весне.

— Ступай домой, охотник, — сказал Микула, вновь садясь на обрубок бревна с той же тяжестью, с какой садится человек, уставший не телом, а чем-то, что тело не в силах выразить. — Обними жену. Обними детей. Пока можешь обнимать их, не оглядываясь через плечо.

Он взмахнул вожжами, и лошадь потянула телегу прочь по иссушенной, растрескавшейся дороге, ведущей на север — туда, откуда, если верить слухам, вот уже месяц не возвращались гонцы.

Радим смотрел ему вслед, пока фигура не скрылась за поворотом, и только потом, тряхнув головой, будто стряхивая с себя чужую тяжесть, повернулся навстречу бегущим к нему детям.

Обереги Любавы

Изба встретила его запахом печёного хлеба и дымком очага, тем особым, обжитым духом, что скапливается в доме, где давно и прочно поселилось счастье, не замечающее самого себя. Милка налетел на отца первым, вцепился в штанину, требуя рассказать про веоря во всех подробностях; следом, уже степеннее, подошла Аленка, неся перед собой глиняную миску с земляникой — собирала весь день, судя по перепачканным сладким соком пальцам.

— Полную крынку из ледника достала! — сообщила Аленка, потрянув соломенной чёлкой, лезшей ей в глаза. — И Любава пирогов с черникой напекла, целое блюдо на столе стоит, тебя ждут!

Радим сгрёб сына в охапку, прижал к широкой груди, жадно вдохнув родной, ни с чем не сравнимый запах парного молока, сухой травы и нагретого солнца, которым пахнут только собственные дети после долгого летнего дня.

— Дома-то как? — спросил он, ставя Милку обратно на землю. — Матушка квасу нацедила? Помогал ей, аки настоящий мужик?

Внутри изба была прибрана той же уверенной, привычной рукой, что вела дом уже седьмой год: на столе, рядом с горой пирогов, лежали свежие травы для отвара, а у печи, помещивая варево, стояла Любава — простоволосая, с закатанными по локоть рукавами, с той полуулыбкой на губах, что появлялась у неё всегда, стоило ей слышать шаги мужа на пороге.

— Заждались уже, — сказала она, не оборачиваясь. — Мирошка забегал, сказал, веоря добыл невиданного. Хвастал за тебя, будто сам его брюхо испарывал.

— Пусть хвастает, лишь бы мясо чистил, — усмехнулся Радим, опускаясь на лавку и вытягивая усталые ноги. — Долгий был день.

За ужином он не стал рассказывать ни про бешеного веоря, ни про тревогу дозорных, ни тем более про Микулу с его треснувшим лемехом — вечер казался слишком хорошим, слишком тёплым, чтобы впускать в него чужой, непрошенный холод. Дети спорили, чья черника слаще, Любава подкладывала мужу лучшие куски пирога, и на короткое время всё то странное, что Радим слышал за день, отступило так далеко, что казалось выдумкой уставшего от жары рассудка.

Уже позже, когда дети уgomонились на печи, а масляная лампада отбрасывала на бревенчатые стены мягкие, дрожащие тени, Радим долго смотрел, как Любава расчёсывает у окна тёмные, отросшие за лето волосы. На подоле её сарафана, у самого края, была вышита узкая полоса оберегов — солнечные знаки, переплетённые с петлями, что защищают дом от чужого глаза и чужой хвори, вышитые ещё её матерью, а до того — матерью её матери, нить в нить, узор в узор, без единого разрыва в роду.

Радим знал этот узор наизусть — сколько раз, засыпая, он смотрел, как золотистая нить ловит отсвет очага и слабо, почти незаметно светится собственным, тёплым светом, тем самым, каким светятся вещи, в которые годами вкладывали не просто труд, а настоящую веру.

Сегодня нить не светилась.

Он не сразу это заметил — списал сперва на усталость глаз, на скудный огонёк лампы, — но чем дольше смотрел, тем яснее видел: золотая нить потускнела, стала обычной, будничной пряжей, ничем не отличающейся от той, что покупают на торгу за медный грош.

— Любава, — тихо позвал он, приподнимаясь на локте. — Обереги твои...

Она обернулась, и в глазах её, прежде чем она успела спрятать это за привычной, спокойной улыбкой, Радим увидел то же самое, что весь день преследовало его самого: не страх ещё, но первую, робкую тень понимания, что сегодняшний вечер, каким бы тёплым он ни казался, может оказаться последним таким вечером надолго.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.